

## Борис ЧЕРНЫХ



### ОТЧЕ НАШ Реквием

\* \* \*

В июне 1927 года в станице Албазинской, самой старой на Амуре, внезапно взят опричниками Иван Черных, потомственный казак.

Вначале я хочу показать редчайший фотокадр.

Фотография неизвестного албазинского хроникёра. На ступенях церковно-приходской школы в мае 1910

учитель собрал воспитанников, чтобы сделать памятный снимок. В нижнем ряду, четвёртый справа, насупленный Ваня Черных. А в верхнем ряду пятая справа Гутя Самсонова, в сарафанчике. Ни Гутя, ни Ваня не догадываются, что судьба сведёт их в союз навеки, но век окажется коротким, всего двадцать лет.



Фото 1

\* \* \*

Ничто не предвещало ареста. Гражданская смута в России и на Дальнем Востоке унялась. Мужики (бывшие из казачьего сословия) землепашествовали. Иван тоже втянулся в домашние заботы. У него и у Гуты родилось трое детишек, два мальчика – Гена и Вадик, и дочь Гера, соответственно четырёх, трёх, двух лет. Грибочки. На усадьбе ржали кони, не верховые, рабочие. Мычали коровы. На заимке метались в загоне овцы. Заимку Иван не забросил. Каждую весну поднимал 15 десятин земли. Стало быть, не отняли ещё землю.

Оставалась открытой граница с Китаем. Албазинцы косили на правом берегу, травы там стояли сочные.

Дома у Ивана за хозяйку оставалась Гутя. Она лишь годом младше мужа. Гутя охотно рожала и празднично нянькалась с малышами. Ей помогала баба Груня, мать. Баба Груня несла домашние тяготы тоже в удовольствие. Сама-то Груня нарожала шесть девок – старшей была Пелагея, за ней шла Гутя.

Дом полная чаша. Ванечка любит Гутю, Гутя любит Ванечку. Но горесть точит молодую семью. Отец



Вани, Дмитрий Лаврентьевич, не принял Октябрьской революции и ушёл на чужой берег. Там вырыл тёплый блиндаж, жил одиноко. Приятели-китайцы хаживали к нему на затуран. Это байховый чай, солёный, с молоком. Где они брали молоко? На русской стороне, куда совершал вылазки Георгиевский кавалер. Но не только за молоком ходил Дмитрий Лаврентьевич. Его притягивали внуки и внучка. И Гутя ходила в любимицах у деда Дмитрия. Старый казак не единожды говорил сыну: «Кабы мне досталась в молодости Гутя. О-о!» На эти «О-о» Ваня улыбочиво отмалчивался. У Ванечки житейская программа была простая: поднять деток, буде ещё народятся. Никак не менее десяти. Поднять, затем во главе рода ходить по станице, выбирая невест и женихов. Притом Ваня холил Гутю и чем далее, тем всё сильнее понимал, что она отвоевала его, зная одну цель – чем далее, тем преданнее любить Ванечку, единственного, ненаглядного.

Но жизнь на Амуре неумолимо сползала в никуда. Сначала скоростижно помер Василий Яковлевич Самсонов, Гутин отец, а Грунин муж. Повод казался ничтожным. Василия Самсонова, бывшего станичного атамана, вызвали в сельсовет, и сказали бывшие сотоварищи:

– Василий Яковлевич, стадо у тебя великое. Нам кажется, ты заездил девок. Они вместо казаков у тебя. И пахут, и сеют. Лес рубят. И косят. И рыбалют. Урожай сгибают.

– Завидно? – спросил Василий Самсонов.

– Чему завидовать? У самих хлопот полон рот. Из района пришла указивка. Сократить большие хозяйства, а то получается – кулацкие.

– Кулацкие с наёмной силой, – отвечал Василий Яковлевич, – а у меня вместо китайцев мои дивчины.

– Ну, смотри, атаман...

Василий Яковлевич стал смотреть. Получалось, если на всех дочерей поделить коров, лошадей и овец (когда замуж пойдут) – не так богато. Но смотрел он сердечно и слёг. И в одночасье не встал. Его погребли возле старой церкви, воздали должное воину.

Однако Дмитрия Лаврентьевича Черных никакая хвороба не брала. А пограницы ему не указ. Ночью они перехватывали Дмитрия на льду или на плаву, грозно советовали не нарушать границу. Дмитрий отвечал: «Здесь я вырос и состарился. То моя родина, а вы тут временные».

По понятиям середины 20-х отец-эмигрант – явление опасное. Но Ивана и Гутю настолько захватила семейная песня, что отца, Дмитрия Черных, они воспринимали как припев к песне. Привечали его и ласкали.

Головная боль у пограничников – именно Дмитрий Черных. И тогда решили испытать Ваню и Гутю на излом.

Наряд пограничников силой взял Ивана и увёз из станицы. Гутя думала – в Рухлово (ныне Сквородино). Оказалось, в Благовещенскую тюрьму.

Я сам только что получил из КГБ (ФСБ) документы о событиях 1927 года<sup>1</sup>. И узнал, что отец был вывезен в Благовещенский тюремный замок.

Первое, что я сделал, – поехал в нашу тюрьму. Мне выписали пропуск, я вошёл в мрачное чистилище. С подполковником Н. мы посетили старинный корпус, где содержали отца, и камеры, где он был заперт.

В нынешние мои лета, прошедший огни и воды, я не заплакал. Я всё время помню – за спиной у меня мама Гутя. Она выдержала тогда невиданное испытание. Не просто выдержала. Испытание приподняло её над грешной землёй.

Она боролась за Ванечку с пятнадцати лет. Её соперницей была несравненная Таля, дочь предпоследнего албазинского атамана Павла Птицына. Но Павел Птицын, мудро просчитав все шансы дочери, поспешил выдать её за почтовика Гавловского, укоренившегося на Амуре поляка. Закадычные соперницы выплакались на свадьбе и остались верными подругами на всю жизнь. Даже когда обстоятельства вынудили Павла Птицына бежать из Албазина – а он бежал не к Дмитрию Черных, не в Китай, а в Казахстан, но и там его настигла чекистская пуля, – и тогда Гутя и Таля не покинули друг друга...

После ареста Ванечки маменька обошла сто подворий и собрала подписи в защиту Ванечки. Наивная, она думала, что власть примет к сведению письмо коренных станичников. Не тут-то было.

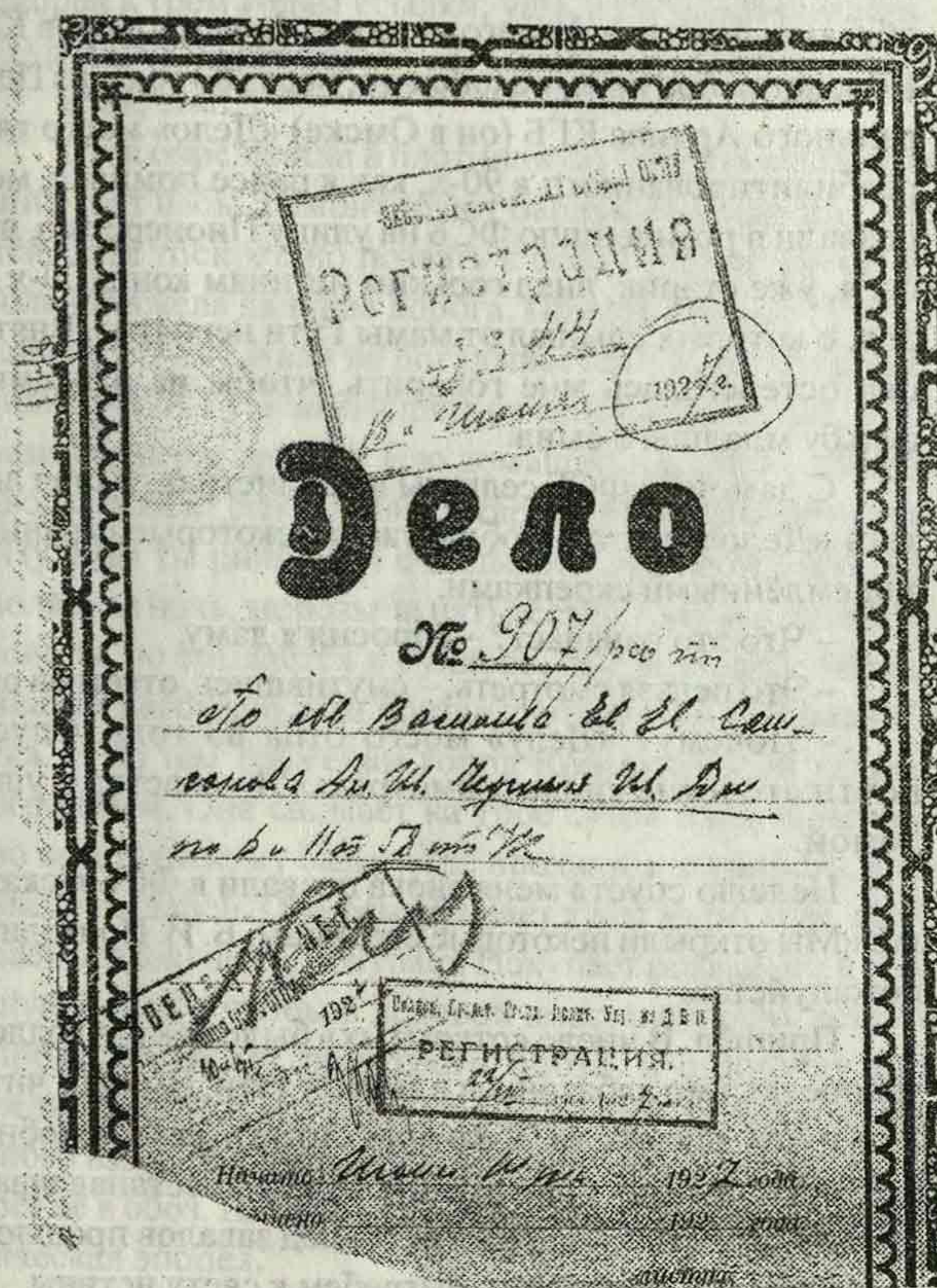


Фото 2

<sup>1</sup> Вот обложка «Дела» НКВД ГПУ от 1927 года (Фото 2). Страниц в «Деле» немного. Но они дают повод поздним читателям поразмышлять. Почему с 1927 года надо было скрывать от потомков т. н. «Дело»? Все его персонажи давно умерли, даже их дети в большинстве своём тоже ушли на вечный покой. И сейчас мне, последнему албазинскому казаку, милостиво разрешают припасть к полуистлевшим страницам. Что ж, я читаю и обнаруживаю абсолютную ложь: создание контрреволюционной организации, связь с вождями белого движения в Харбине и пр., и пр. Но 1927 год не 1937, и всё «обвинение» рухнуло уже во время т. н. «следствия».



Прочитав это письмо, хотя видно, что над окончательной редакцией походила рука особиста. Предварительно надо дословно привести слова из Постановления Уполномоченного КРО III Богданова (и следом резолюции начальника КРО III Шнеерсона – «Согласен» и «Просмотрено» – Ю. К. Анцелевича): «...Ввиду их принадлежности к социально опасному элементу (“их” – вместе с Ванечкой взяли Александра Самсонова, по возрасту он годился в отцы Ивану, 1871 года рождения) – направить для рассмотрения в Особое совещание при Коллегии ОГПУ на предмет заключения в концлагерь, направив предварительно на заключение Далькрайпрокурору...

Справка: Обвиняемые Черных И. Д. и Самсонов А. И. содержатся под стражей в Благовещенском ИТД».

22 июня 1927 года Иван Черных был допрошен (лист «Дела» 8). Из протокола вычитываем: на вопрос 7 «Служил ли в армиях реакционных правительств, где, когда в каком чине и в какой части?» – ответ: «Не служил».

На 8 вопрос: «Служил ли в контрразведывательных учреждениях реакционных правительств (и пр.)?» – ответ: «Не служил».

Далее тятя просит перо и пишет: «В период колчаковщины ни в каких белогвардейских отрядах не участвовал и пособничества не оказывал... в 1920 году призвали на военную службу и служил в 1-м и 2-м кавалерийских полках. В 1921 году из армии (Красной) дезертировал», – начинается, нет, продолжается судьба Григория Мелехова, персонажа шолоховского «Тихого Дона». Его зазывает Гутя, и он готов отозваться на зов любимой, но в эти месяцы он у отца в Китае. Отец уговаривает переманить Гутю в Китай, но в 1922 году Иван переходит границу и возвращается домой. Притяжение родины и Гути одолело.

«Ни в каких разговорах против Советской власти с кем-либо не участвовал, а также не говорил о войне с Китаем и о падении соввласти.

Отец мой Дмитрий Черных последний раз приезжал ко мне в Албазин в 1924 году... Обнаруженная обыском газета “Возрождение” принадлежит жене (для выкроек, в выкройках и найдена)»... И подпись отца.

В «Деле» есть и «Протокол обыска», из него явствует, что «при обыске (это 14 июня 1927 года) обнаружено ничего не было». Обыск произведён в присутствии п/уполномоченного Шишкова, представителя с/совета Филинова и квартирохозяйки гр-ки Черных Августы Васильевны.

Подписи матери, Филинова и этого самого Шишкова. Сохранился ордер № 18 на право производства обыска, от 14/VI-1927.

Но обыск ничего и не мог дать, ибо Иван был весь в отцовстве, то есть малые детишки пленили его. Уже родился Вадик, третье дитё.

Но всё-таки тятю берут и увозят. В безнадежную борьбу вступает мама Гутя.

Лист Дела 10 называется «Поручительский», от 29 августа 1927 года: «Мы, нижеподписавшиеся жители села Албазина Рухловского района Зейского Округа, даём настоящий в нижеследующем: наш односельчанин Иван Дмитриевич Черных, местный уроженец,

в 1920 году под влиянием отца Дмитрия Лаврентьевича Черных эмигрировал на китайскую сторону, но в 1922 году возвратился обратно и с этого момента по день ареста проживал в Албазине, занимался хлебопашеством, ни в каких контрреволюционных выступлениях не замечался.

Черных в настоящее время обременён семьёй в числе жены, трёх малолетних детей и больной сестры. Имеет домашность, как-то: 3 лошади, 2 коровы и другую хозяйственную обстановку. Беря его на поруки, мы ручаемся, что от суда он не скроется и по первому требованию суда явится или же нами будет доставлен куда следует.

К сему подписуемся...»

Далее идут подписи ста десяти албазинцев, в послесловии я могу назвать всех, сейчас приведу имена друзей и родных: Р. Портнягин, Григорий Черных, З. Суриков, Георгий Сенотрусов, Павел Птицын, это отец Тали Птицыной-Гавловской, маменькиной подруги, Василий Самсонов (отец Гути), Филат Исаков (кстати, девичья фамилия бабы Груни, матери мамы Гути, – Исакова. Эту фамилию она понесла, через родителей, ещё с Енисейских времён), Павел Антипьев.

И другие.

В конце третьего листа «Поручительства» стоит: «Собственноручные подписи граждан в сем Поручительском Листе Албазинский сельсовет свидетельствует.

Председатель сельсовета Филинов.  
30 августа 1927 года».

Любопытна резолюция оперативных работников нынешнего Амурского ФСБ: «Ксерокопия снята»... – и подпись начальника подразделения УФСБ РФ по Амурской области: 17.09.2010. Я. В. Ширяев». Считаю себя обязанным называть сегодняшних функционеров КГБ. Ибо, когда получил, наконец-то, через 83 года, из Центрального Архива КГБ (он в Омске) «Дело» моего тятя, реабилитированного в 90-х, как я ранее поминал, меня позвали в резиденцию ФСБ на улицу Пионерскую, чтобы я, уже старик, внял горьким истинам конца 20-х годов, о которых слышал от мамы Гути невнятно. Внятно она остерегалась мне говорить, чтобы не надломить судьбу младшего сына.

С дамой из ФСБ сели мы в кабинетике. Я стал листать «Дело» и тотчас обнаружил некоторые страницы заземлёнными скрепками.

– Что это означает? – спросил я даму.  
– Это нельзя смотреть, – смутившись, ответила она.  
– Почему? «Делу» моего отца 83 года. Спустя почти столетие «нельзя смотреть»?! – я встал и ушёл домой.

Неделю спустя меня снова позвали в ФСБ и сказали: «Мы открыли некоторые страницы, Б. И. Приходите, пожалуйста».

Пришёл. В числе «открытых» было как раз коллективное письмо албазинцев в защиту тятя. Выводы читатель пусть делает сам. Я же могу сказать: если подобными черепашьими темпами мы будем восстанавливать правду столетия, мы никогда из-под завалов прошлого не выберемся, никогда не выгребем к свету истины.



Разумеется, иллюзии питали Гутю Самсонову-Черных: да, все подворья старинной станицы высказались в защиту Ивана Черных. К тому же Гражданская война отпыхала. Что ж, Дмитрий Черных выбрал не Советскую власть, но он не выбрал и контрреволюцию. Протест его был пассивным, немым. Эка важность – вырыть на китайском берегу землянку, поставить там печурку, навещать внуков и любимого сына. Но по раскладу тогдашних опричников Дмитрий признан белоэмигрантом, следовательно, врагом. Врагов Советская власть любила, она без них жить не могла. Ворваться же в Китай и там схватить Дмитрия Черных, перетащить на русский берег в те глухие времена рискованно. Поступим проще – арестуем сына. Оснований для ареста нет? Но отец – белый. Разве это не основание?

Можно предположить: тятя попал в капкан. Он коротает дни и недели в тёмной камере старого корпуса Благовещенской тюрьмы. О письме станичников в его защиту не знает. Он не получает никаких вестей от Гуты. Ваня отрезан от мира.

Нелепые обвинения в некоем белоэмигрантском заговоре чуть ли не с самим генералом Сычёвым (в Харбине) отменяет. Но зэки рассказывают ему, что из этих камер уводят только на расстрел или увозят в концлагерь. Стало быть, надо молиться и готовиться к худшему.

Александр Самсонов, уличённый в том, что в Рухлово на ж. д. вокзале он сорвал красный флаг, пал духом.

Однако и его Иван Черных не видит, их расселили по разным камерам.

Наконец, Ивана вывели к следователю, в стенах тюрьмы же. Тятя идёт, ожидая худшего. Но, к его удивлению, ему объявляют, что он Особым Сопещанием ГПУ приговорён к трём годам ссылки, увы, в гибельные места – в Туруханск на Енисее.

Итак, этап.

Отца определили в плотницкую бригаду ссыльных, они рубят избы, ремонтируют бараки ещё царских времён. Тятя тоскует, но позвать к себе Гутю не смеет. Уж больно тяжела дальняя дорога. Притом на кого Гутя оставит деточек? Иван не догадывается о том, что замыслила Гутя. А Гутя замыслила отчаянное решение. В Албазине она распродаёт всю домашность, снова обходит дворы, просит о складчине. Старики отговаривают Гутю: «Ну, куда ты ринешься с малыши? Это край света, там полярная ночь, морозы за пятьдесят». Она выслушивает советы, но срывается в Рухлово, там покупает жёсткие места в пассажирском поезде, добирается до Красноярска. И по тем временам город Красноярск ей кажется огромным. Она снимает на трое суток избу, шлындает по крестьянскому базару, где продают и живность, в том числе лошадей. Она осматривает зубы жеребцам, выбирает подходящего, покупает. Покупает розвальни и большую попону, чтобы в ледовой дороге оберечь детей от простуды. Ждёт попутного обоза, в одиночку идти нельзя: лютуют волчьи стаи. Дождалась, уговорила старшего взять её в обоз. Старшой дивуется – лихая! Но берёт её в обоз. Начинается, не побоюсь этого слова, героическая эпопея.

Хорошо, мама Гутя с детских лет знала гоньбу и, повязав шалью лицо, гнала за мужиками, не отставала.

На случайных полустанках сердобольные сибиряки давали привал на ночь, поили молоком детей и кормили картошкой. Рано утром, ещё в сумерках, обоз снова шёл в низовья. Так, без уведомления, она предстала перед любимым Ванечкой. Ванечка пал на колени перед детишками и Гутей. Его товарищи по несчастью дивились и завидовали Ивану Черных.

\* \* \*

В крохотном отступлении скажу: когда я подросток и, страстный книголюб, добрался до жён декабристов, как они столетием раньше ринулись к ссыльным мужьям, но детей оставив в своих поместьях, в России, – я восхитился: дворянки и княгинюшки рискнули одолеть семь тысяч вёрст. Маменька с кроткой улыбкой слушала меня. Когда я оканчивал школу, решила рассказать о своём путешествии к тятю. Енисей в суровую зиму двадцать восьмого года представлял голую пустыню. Стоянки в сёлах по берегам великой реки были несказанной радостью для моих братьев и сестрицы, а и для мамы Гуты.

А ледовая дорога казалась бесконечной, но на десятые сутки перед ними неожиданно предстал Туруханск. Завывала метель. На высокой мачте у монастыря развевался чёрный стяг. Этот чёрный стяг был признанием, что день рабочий активирован, мужики сидели по избам. Нерабочий день пришёлся кстати – праздник для Черныхов. Тятя не мог наглядеться на ребятишек, вспоминала мама Гутя, даже прослезился. Мама считала его кремнёвым, и вдруг слёзы.

Ожидая зимнего ненастья, ссыльные готовили припасы: сахар, соль, картошку, рыбу. С рыбой проблемы. Тогда власть придумала иезуитскую меру – русским запретили отлов, и это в низовьях Енисея, когда красная и белая рыба идёт косяками, в нерест можно весло стоймя ставить в улове.

Местное племя кетов имело право брать из реки столько рыбы, сколько поднимут. Это тоже придумала власть. Кеты и поднимали. Солили в бочках, устраивали не продажу, а обмен: русские приносили им водку или самогон, а кеты отдавали хвосты. Что мешало самим кетам в магазинах брать спиртное? А тут другой закон-запрет действовал: не продавать малым сим водку: сопьются-де. Это глупость. Русские покупали поллитровки и шли по чумам или баракам кетов.

Тятя наш быстро усвоил эти уроки, рыба была у него. Малосольная и просто мороженая. А когда есть рыба, жить можно. Рыба то же мясо. Охотники в окрестных лесах брали иногда медвежатину или козлятину, но в нормальную погоду. Поэтому – рыба. Утром, на обед, на ужин. Впрочем, и на Амуре рыба всегда была в запасе. Ничего нового нет в обильных краях Сибири и Дальнего Востока, всё извечное. И даже непутёвая власть извечна.

Мама Гутя принялась хозяйничать. Сосед тяти, седой ссыльный (тятя сказал, что тот попал в ссылку за анекдот, рассказанный в кругу друзей, анекдот невинный по меркам конца 20-х годов), завидуя Ивану и вздыхая, ушёл к сотоварищам, и у Вани с Гутей ока-



залась комната и кухонка с печкой, ребяташки могли шалить и вволю смеяться.

Однажды Гена и Гера на улице, за окном, повздорили<sup>2</sup>, а после оба заплакали, на что тятя, улыбаясь, сказал строкой из песни:

Две гитары под окном  
Жалобно заныли... —

и мама вдруг вспомнила о певучести своей. Мама Гутя в девичестве пела не только на клиросе Албазинской церкви, но и дома, в компании. «Гитару не взяла, — сказала она сожалеючи тятю. — Всё равно не довезла бы, в дороге разбила».

Тятя пошёл к соседям, вернулся с гитарой, старенькой, изношенной, но мама Гутя взяла аккорд, и тятя услышал старозаветное:

Отцвели уж давно  
Хризантемы в саду,  
Но любовь всё жива  
В моём сердце больном.

Об этом она рассказала нам с сестрицей много лет спустя. И годы гитара висела дома, на Шатковской, рядом с машиной «Зингер». Иногда, отложив шитьё, подруги, по рюмочке приняв, пели старинные песни. Это Гутя и Таля. И непременно вспоминали тятю. К ним подпаривалась тётя Пана Хованская, соседка.



Фото 3

<sup>2</sup> Мама Гутя сберегла фото ссыльных детишек, это 1930 год (Фото 3). Брат Гена, сестра Гера и братик Вадим. Укутанные от морозов.

В эти минуты я сидел, затаив дыхание. Память о неведомом тятю пропитывала меня. И память о погибшем Вадике.

В те же годы свою ссылку в Туруханске отбывал врач святитель Лука (Войно-Ясенецкий), позже канонизированный Русской Православной церковью.

На третий день выюга чуть утихомирилась, Ванечка вывел выводок на улицу, чтобы показать хотя бы часть Туруханска, но внезапно закашлялся. Мама Гутя увидела на белом снегу кровавый ошмётки и сразу догадалась: у папы слали лёгкие, может быть, ещё в камерах Благовещенска, но Ванечка не придавал значения своему нездоровью.

Теперь же рядышком были Вадик, Гера и Гена. И мама Гутя дышала рядом. Мама заметила, что Ванечка спиной всё жмётся к печке. То был тоже признак беды. Что будет с малыми их детишками? Но надо дожить срок ссылки. После ссылки не упекли бы куда подальше. Здесь они вроде бы вольные, хотя каждый день отец отмечался в милиции. Теплятся трубы котельной и монастыря, с коего сорваны купола и кресты, а из церковнослужителей (их недавно было пятеро) остался единственный. Остальных угнали в неизвестном направлении.

Мама Гутя достала махонькую иконку, копию Албазинской Божией Матери, они походя молча молились.

Гутя принялась писать в Москву, слёзно умоляя о пощаде. Кому она писала, вполне владея слогом? «Дедушке Калинину». О «дедушке» ходили легенды, и, видимо, тиран понимал, что эта добрая слава Калинина греет и власть в целом.

И, представьте, однажды пришёл ответ, на министерском бланке. После ссылки семья Черныхов может выбрать место жительства повсюду в России, кроме Албазина и Рухловского района. Тятя рассмеялся — какие мы, Гутя, грозные и опасные. Нельзя землепашествовать на родине.

Но ни тятя, ни мама Гутя не ведали, что происходит в Албазине и на русском берегу Амура. Связь оказалась прерванной. Мама Гутя писала Тале Птицыной-Гавловской и сёстрам короткие письма, но ответом было молчание. Тятя, понимая своё положение, никому запроса не отправил. Знал: навредит не только семье.

А в станице Албазин сотворялись трагические события. Был убит дед Дмитрий. Произошло это так. Не зная о том, что мама Гутя с внуками снялись с якоря и помчались к Ванечке, Дмитрий, тоскуя по сыну и внукам, решил навестить своих. Но посреди ледовой тропы внезапно выпрыгнувшие из посадок пограничники перегородили тропу: «Куда, мать-перемать, идёшь, отец? Граница отныне на замке». — «К внучатам», — миролюбиво отвечал Дмитрий и пошёл далее. Вслед раздались выстрелы, Дмитрий упал. Пограничники, напуганные бессудной расправой, добились Дмитрия и спустили в ближнюю прорубь. Скрыть событие не смогли потому, что юные солдаты с погранзаставы ходили на танцульки в албазинский клуб и вышептали девам правду.

Что же мои? После Туруханска они удалились в Щегловск Кемеровской области. Ненадолго. Потому что



там их обложили стукачами, скоро жить в Щегловске оказалось невозможным. Сохранилось фото 1931 года. Мама Гутя достала из мешка старенькое любимое платьице и старые туфельки, а тятя кто-то дал френч (тогда в моду вошли эти полувоенные френчи)<sup>3</sup>.



Фото 4

Всю жизнь я разглядываю фотографию родителей. То, что свершила мама Гутя, — побег в Туруханск (посмертная слава маменьке!) — мне понятно и близко (хотя тогда на свете меня ещё не было). Но, глядя в лицо тяти, я думаю: какой притягательной силой надо было обладать тятю, чтобы за тысячи вёрст, чахоточный, он воззвал маму Гутю, она, немо же, отозвалась на зов и, ни минуты не сомневаясь, ринулась в неведомые края.

А на Амуре началась так называемая коллективизация. Опытные казаки решили, что затеяна авантюра, они надеялись отсидеться на заимках и на подворьях. Волна схлынет, авось останемся сами себе хозяевами.

Власть ответила, как и положено безбожной власти. Летней ночью 1931 года к Самсоновскому взвозу подогнали баржу с буксиром, прикладами загнали на борт

<sup>3</sup> Город Щегловск под Кемерово. Родители на поселении умудрились сфотографироваться (Фото 4).

сорок албазинцев. Притом родным запретили выйти к берегу, попрощаться<sup>4</sup>.

Этих сорока мужиков утащили вниз по течению Амура, и они бесследно пропали. Могло ли так быть: за десятилетие, до самой войны с германцем, не добралось до станицы единой весточки — ни письменной, ни устной? Потом война заслонила беду 1931 года. Лишь после войны прозорливые старики догадались: баржу с арестованными станичниками затопили живьём в низовьях Амура.

И этого тоже не ведали ни тятя, ни мама Гутя.

В 1988 году после возвращения с политзоны (я отбывал мои пять лет с 1982 по 1987 на Урале) посетил я деловские и родительские гнездовья. Стояла крепкая зима, слава Богу, без метелей. Меня угостили чаем в доме деда Василия. Дом стоял на Самсоновском взвозе. В 88-м там жила семья пришельцев-чужаков Метёлкиных. Они обиделись, когда, осмотрев деловские углы, я сказал: мне есть куда вернуться. А для стариков Метёлкиных я отыщу другой угол. Разумеется, я пошутил. В 1988 году Албазинский совхоз «Чекист» уже упал, и что бы я делал в упавшем «Чекисте»? Хотя дом деда Василия был моим по праву наследования.

Но тогда же, зимой 1988 года, один из Сенотрусовых увёл меня на лёд Амура и вышептал о расстреле деда Дмитрия и о гибели сорока албазинцев. С 1931 по 1988 сколько лет минуло? Правильно, пятьдесят семь.

Но родители мои не знали об угоне албазинцев. Мама Гутя, умершая в 1959 году (я тогда был студентом), — и в пятьдесят девятом не ведала об одностаничниках. Даже Таля Птицына-Гавловская, давно бежавшая из станицы и ходившая в Свободном у моей мамы в подмастерьях, не решилась рассказать подруге Гуте о трагедии 1931 года.

Имя и отчество летописца Сенотрусова я записал тогда в тетрадку, однако в домашнем архиве не могу отыскать тетрадь. Но сомневаться не приходится. Что было, то было. А после репрессивный вал в конце 30-х годов и война с германцем, унесшая половину мужского населения станицы.

По наитию, однако, тятя вычислил гибель отца и затосковал. Год от году тоска становилась необратимой, тятя замолчал и молчал до последнего дня. Мама Гутя втихомолку плакала, а по ночам прижималась к Ванечке.

\* \* \*

Последние дни застали тятю в совершенно чужом городе Свободном, тогда Свободный был объявлен «столицей» БАМлага.

<sup>4</sup> Самсоновский взвоз назван в честь Василия Яковлевича Самсонова, станичного атамана в начале XX столетия. Отец мамы Гуты, а мой дед. Дом Василия Самсонова стоял на высоком берегу. Чтобы поднимать бочки с амурской водой (летом на телегах, зимой на санях), албазинцы прорыли пологий спуск и назвали Самсоновским взвозом. Справа казаки подняли лиственничную лестницу, в 1891 году, для встречи Цесаревича Николая. Он прибыл со свитой на пароходе и поднялся по ступеням. На крепком берегу его приветствовала казачья сотня в конном строю.



Из Щегловска в 1935 году родители решили поехать поближе к родине: сначала в Белогорск (тогда Куйбышевская-Восточная), потом в Свободный (первородно – Алексеевск). Но почему именно в Свободный они потянулись?

Потому что туда перебрались сёстры тяти – Катя и Рая. Сёстры сообщили брату: среди зэков есть доктор-лёгочник Виноградов. Отец рванулся из Белогорска, там доживала век баба Груня, мать Гути, в Свободный, нашёл Виноградова, тот оказался расконвоированным. Доктор в городской клинике сделал рентген, выстукал тятю молоточком грудь и спину и сказал утешительное: «Несколько лет я обещаю тебе».

Роскошное суление по тем временам и в том плачевном положении тяти. Тятя решил: он поможет маме Гуте поднять Вадика, Геру и Гену. Но в 1936 году медсёстры сообщили Ванечке, чтобы он не приходил отныне в клинику. По приговору тройки Виноградова ночью увели чекисты, и на бамлаговском погосте доктор был расстрелян...<sup>5</sup>

Тятя уходил из жизни пристойно. Зимой 1938 года особисты в Свободном пришли взять отца, но, увидев, как, задыхаясь, он отхаркивает кровь в ведро, поднесённое мамой, сказали: «Не жилец», – и ушли. Тятя вздохнул: «Слава Богу, помру дома».

Спустя десятилетия маменька поведала, как накануне смерти Ванечку охватил приступ пророчеств. Пророчества напугали Гутю потому, что страшный приговор тятю, сострадавая, вынес Вадика. Почему же тихому Вадика, а не бедовому Гене? Или слабенькой Гере (у Геры, в отца, были слабые лёгкие)? Да и я, хилый последний, едва держал голову (мать тогда спасала меня, младенца-искусственника, и спасла козьим молоком).

Но пророчество тяти о смерти Вадика сбылось. Старший из братьев Гена прошёл через лагерь Среднебелое с шестнадцати лет (там одновременно с Геной отбывал молодой Юрий Домбровский). Началась война с германцем, в сорок третьем Гена выпросился на фронт, разумеется, в штрафбат, был контужен и ранен, но всё равно уцелел и вернулся домой, уже после падения Японии, из Маньчжурии.

Вадим, солдат морской пехоты, погиб в Порт-Артуре. Не в бою, а в автокатастрофе<sup>6</sup>. Ах, Ванечка, зачем так

<sup>5</sup> В те годы, 1937–1938, тысячи узников ушли в расстрельные ямы БАМлага. Архив этого лагеря – лагеря протяжённостью от Усть-Кута в Иркутской области до Совгавани на Тихом океане – хранится в МВД, чиновники и поныне не выпускают архив даже в руки историков.

<sup>6</sup> Взвод Вадима перевозил водопроводные трубы на студебеккерах. Когда машина с солдатами в кузове по мокрой дороге должна была пройти над обрывом, ребята попросили у лейтенанта, взводного, разрешения сойти с машины и пешком пройти опасные сто метров. Пьяный лейтенант закуражился. Машина сползла в глубокий кювет и перевернулась. Все солдатики были ранены. Вадик умер при переливании крови, ему не исполнилось девятнадцати лет. Он похоронен на Русском кладбище.

Тогда, после катастрофы, посадили в тюрьму шофёра, а лейтенант отделался выговором.

не близко, но безошибочно ты определил раннюю гибель Вадика? – мама плакала по ночам, молилась заупокойно, перечитывала письма Вадима. Он рос даровитым мальчиком и многое обещал, но ранняя смерть тяти и война оборвали надежды.

Вадика призвали-то семнадцати лет на уссурийскую границу, видимо, во время тяжёлых боёв под Сталинградом. Мама в ворот рубашки зашила Вадика молитву о спасении, я тогда с душевным трепетом наблюдал священнодействие мамы, и Вадим торжественно молчал.

Новобранцы на Уссури голодали и холодали. Письма Вадима, рвущие душу и спустя шестьдесят лет, я иногда перечитываю. Трогательные просьбы к маме, чтобы она хотя бы россыпью в конверте прислала махорки на закрутку, – так они бедствовали.

Но в августе сорок пятого наша армия пошла на Харбин. Вадик нелюбезно описал русских эмигрантов: эмигранты выглядели сытыми и ухоженными.

Далее наши солдаты ринулись с боями к Порт-Артуру. Питание стало нормальным, солдатам выдавали по пачке махорки через день. Вадик писал счастливые письма.

В одну из этих ночей нужда подняла меня. Я должен был пройти через кухню, но не смог. Там на коленях, перед иконой Богородицы, стояла маменька, уговаривая Всемилостивую сохранить Вадика.

Гена же потерялся на восточном фронте, мама Гутя свято поминала каждый день папу Ванечку и сына Вадика. Сестра Гера уехала в Малую Сазанку, там стояла военно-морская бригада Амурской флотилии. Грамотную Геру взяли секретаршей в штаб, она вышла замуж за матроса, но тут японская кампания прервала мирную жизнь.

Я видел душераздирающую сцену прощания с Колей, мужем Геры.

Провожал я Гену, потом Вадика и, наконец, Колю.

Про японских самураев рассказывали страшные легенды. Самураи не умели сдаваться в плен, сражались до последнего, иногда их находили прикованными к станковым пулемётам.

Все эти месяцы я оставался с мамой. Со стены на нас смотрели тятя, Гена, Вадик, Коля. И ранний уход отца, совсем ранняя гибель Вадика. Где без вести пропавший Гена? И где же Колина часть? Всю войну стоявшая наготове (японец прянет) малосазанская бригада внезапно снялась с насиженного места, Коля прощально махал бескозыркой из фрамуги теплушки (при этом оркестр играл печальное «Прощание славянки»). Это и есть моё отрочество, быстро сменившее детские годы. Господи, помоги нам устоять, – поневоле станешь молиться.

Слава Тебе, с серебряной медалью на груди вернулся живым Коля. Он как братишку обнял меня и как родную обнял маму Гутю. Оставалось просить Бога за Гену. Мама Гутя и просила. Поздней осенью, уже позёмка мела, командир полка сообщил в письме маме: Геннадий Иванович Черных выполнял особое задание командования, выполнил и вернулся, читайте его письмецо.

– Чё поднимать панику, мама? – спрашивал в письме старший брат. – Война с узкоглазыми не лучше войны с немцем. Но я цел и невредим.



Мы, получив доброе известие, возрадовались с мамой, она снова застрочила из своего пулемёта – ножная машина «Зингер» напоминала пулемёт.

Между прочим, по тем временам иметь немецкую «Зингер» считалось богатством. Оказывается, в первую германскую барыня, шедшая через Албазин с мужем-полковником в Хабаровск, растрогалась маминной любовью к шитью и неожиданно одарила её бесценным подарком. «Зингер» спасала и спасла нас в отчаянные годы смертельной болезни тяти, потом в годы войны<sup>7</sup>.

Подсобницей же у мамы, я поминал, оказалась тётя Таля Пгицына-Гавловская.

Можно подивиться, что Свободный во времена революций, войн и репрессий уцелел и окреп, а теперь загнивает на корню, причём не только физически, но и нравственно. Кричащие факты на слуху. Мы решили на железнодорожном вокзале повесить мемориальную доску: «Здесь, возвращаясь из эмиграции, встречался с общественностью города Александр Исаевич Солженицын», – железнодорожные чиновники запретили вешивать доску.

В Доме офицеров мы планировали провести «Дни памяти» Исаича. За три дня до открытия Дней я приехал проверить готовность здания к Дням. Но весь Дом был завален восковыми фигурами динозавров и кенгуру. Оказывается, так решили помешать проведению Дней памяти. Кто решил? Эпоха «демократии».

На главном погосте в Свободном, в Дубках, где покоятся тятя и мама, современные бандиты сняли всю железную ограду и сдали на металлолом...<sup>8</sup>

Но мы отвлеклись. Прости, Отче. Прости, маменька. Простите, братья Вадим и Гена. Прости, тётя Таля.

Здесь уместно вспомнить, как, состарившись, тётя Таля Пгицына-Гавловская завещала мне икону Албазинской Божьей Матери. С Албазинской отец венчал юную дочь в станице. Когда я отодвинулся от перипетий моей судьбы, я пришёл в домик Гавловских, и дядя Саша, престарелый сын тёти Тали, снял из угла икону и, вздохнув, передал мне<sup>9</sup>.

<sup>7</sup> «Зингер» целёхонькая стоит ныне дома у Геры.

<sup>8</sup> После Февральской революции город нарекли претенциозно – Свободным, и город стал «столицей» 16 лагерей. Самое удивительное для меня и моих друзей, однокашников, было и есть: жители города, потерявшие память (родовую, семейную, национальную, историческую), считают кощунственным имя города идеальным. Даже компромиссное наше предложение назвать город Алексеевском-Свободным отменяется с порога. Никакого-де царизма, никакого-де имени отпрыска знатных кровей (Алёши). Убиен мальчонка вместе с родителями, с сёстрами в Екатеринбурге? И что? Мало ли загубил царский режим русских людей? А войны-то какие вёл. С тагарами. Со шведами и с поляками. С турками. С французами и немцами. С Японией дважды. Э-э, не надо нам Алексеевска. Ты, Борис Черных, вырос на улице Шатковской, по которой гнали пешие этапы в окружении овчарок, – но ты вырос, не зачах? Вот и гордись именем Свободный.

<sup>9</sup> Икона Албазинской Божьей Матери ныне осеняет мой дом, наш дом.

А в пятидесятых, оканчивая школу, я невольно слушал буритьбу мамы Гуты и тёти Тали.

Не сильно переживая, что я слушаю их воспоминания, маменька, по-моему, специально, принималась рассказывать детали прошлого, а тётя Таля ей помогала вспоминать.

Тогда я узнал о последних минутах отца. Тятя не вставал с кровати неделями и поэтому попросил маму Гутю поднести меня к нему на колени. Мне было около одиннадцати месяцев. Маменька поняла – он прощается. И безоглядно, хотя горлом у тяти шла кровь, положила крохотулю на колени отцу. А руки у отца были ледяные (сердце его почти не работало). Я пустил струю на тятю. Отец счастливо рассмеялся и тотчас отошёл. Тут с улицы прибежал Гена. Мама приложила палец к губам. Гена горько заплакал.

Отпеть отца не удалось. Тогда Свято-Никольская церковь оказалась забитой досками крест-накрест. Но мы отпели тятю дома, хотя вскоре этот дом на улице Комсомольской у нас отнимут и переселят в комнату какого-то барака. Нас было пятеро, да от покойной маминной сестры Пелагеи приехали сироты. В комнате общежития оказалось нас восьмеро. Недавно я письменно обратился к губернатору с просьбой вернуть мне домик, чтобы, готовясь уходить в Дубки, я был поближе к погосту.

\* \* \*

Последние абзацы моего рассказа надо назвать «В тени отца». Лебединые крыла Отче простёр над маменькой и над сиротами. У меня всегда было ощущение, что Отче молча стоит за плечом и одобряет мои неумелые, сначала пацаньи, потом юношеские движения.

Братья ушли на фронты. Я остался на Шатковской (где нам дали сносное жильё) единственным мужчиной. Тяготы тех лет? Тогда у всех были тяготы. Землицы огородной оказалось маловато, всего три сотки, и те сплошная глина. Соседям нарезали по пять соток. Но в сильные дожди с верховых улиц города ручьями наносило много песка, песок я впустил на огород. Уже хорошо – помешать глину с песком.

После вечернего прогона стада я собирал на улице коровьи лепёхи, мы замачивали их в железной бочке. Подкормка для помидор и огурцов. Запахи шли? Божественные!

Тятя, стоя за моим плечом, шептал: «Так, сынок. Действуй. Не сдавайся». Я и не сдавался.

В 44-м случился невиданный урожай картошки, до 30 кулей. А подпол в старом доме промерзал. Куда девать такую прорву картошки? А ещё подошли свекла и морковь, а ещё... Пришлось мне разбирать дряхлые прясла в подполье, менять их на новые.

Однажды я напечатал в Москве «Три сотки», ностальгическое слово о том времени. Но я смолчал о мистическом явлении тяти.

Нынче втихомолку я внушаю сыновьям и внукам стоять до последнего. Имею ли я право показать читателю лица моих (и тятиных) потомков?

Стало быть, мы стоим. Заметьте, младший сын назван в честь прадеда Дмитрия, а мой внук-великан-кра-





савец в честь прадеда – Иваном. Ваня пошёл в математики-программисты.

Внучка – красавица Ксения – родила двух внуков. Здесь, на семейном фото, старший мой сын Андрей держит внука Степана, а на коленях у Наташи, жены Анд-

рея, внучка Маша. То есть это мои правнуки. Зажился я на белом свете.

\* \* \*

Отче наш, сущий на небесах, Ванечка. Да святится имя Твое.

*Благовещенск-на-Амуре.  
Албазин.*

*Свободный-Алексеевск.*

*Туруханск.*

*2011 год, март-июнь.*